Юлий Зыслин.

НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ЭТУ У Л И Ц У

Памяти мамы и тёти Перы

Вашингтон. Летнее воскресенье. Музей Холокоста. У входа, как всегда, очередь в два ручья. В камерном зале музея сегодня играет струнный квартет. Звучит музыка Дмитрия Шостаковича. Перед началом концерта директор программы, американец лет тридцати, долго и бойко говорил про Советский Союз.

Но что он может знать о том времени, в котором жил и которое выражал в музыке великий композитор?

Музыканты стараются, сосредоточенно смотрят в ноты, раскачиваются.

Мне как-то грустно. В голове «засветился» киноэкран. Побежали кадры хроники нашей семьи. Сначала Новосибирск, общий вид, потом улица имени 1905 года. А это что? На дереве, у ворот дома, сидит мальчишка. Я где-то его видел. Ха! Да это же я.

Здесь, в избе с завалинками и ставнями, жила в 1941-1943 годах наша большая дружная еврейская семья беженцев из Москвы, Риги и Юзовки.

Рядом располагались ещё две избы, тоже рубленые, но более мрачные, чем наша, какие-то покосившиеся и вросшие в землю. В одной жила старуха с девочкой, видимо, местные. Они почти не выходили на улицу из своей развалюхи. И голосов их я никогда не слышал. В другой же избе разместилась, наоборот, шумная, всегда улыбающаяся семья евреев из Белоруссии.

Мы занимали не всю избу: за стеной жили ленинградцы (одна из наших соседок теперь живёт в Калифорнии). На нашей половине была кухня с русской печкой, одним окном во двор и дверью в сени, которые все называли «предбанником». И не случайно: когда зимой кто-нибудь входил из сеней в кухню, она мгновенно заполнялась паром, как в бане. Иногда казалось при этом, что в помещение как бы въезжал паровоз. К кухне примыкала смежная комната. Она казалась большой-большой, так как имела пять окошек – два во двор и три таких же на улицу. О них – речь впереди. Лучше бы этих трёх окон не было совсем...

Однако, пока продолжу описание местности.

Рядом с нашей избой, чуть в глубине, стояла трёхэтажная школа, длинная, как казарма. По пути к ней мне даже не нужно было выходить на улицу. Надо было просто пойти мимо огромной помойной кучи в нашем дворике, куда вываливали отходы, а иногда и нечистоты, жители всех трёх изб. Рядом со школой находилась — п е р е с ы л ь н а я т ю р ь м а, или попросту: «пересылка». Вокруг неё — огромный забор, прямо-таки крепостная стена, глухая и зловещая, с такими же воротами. Кстати сказать, улица наша, хотя и носила имя первой русской революции (а может быть, именно поэтому) мало отличалась от любой убогой российской деревенской улицы — те же грязь, пыль, колдобины. Мостовая, конечно, немощёная, зато, правда, кое-где догнивали досчатые тротуары и притаились отдельные кирпичные дома и даже один двухэтажный. А так — избы, избы, покосившиеся низкорослые заборчики, ворота с засовами. Важная достопримечательность улицы — водокачка. Одна на несколько кварталов. Приносить воду с этой водокачки (два ведра на коромысле) было моей семейной обязанностью, чем я очень гордился. О моих друзьях — соседе по парте Кольке Мошкине, дворняжке Джойке и

кошке Мурке — надо рассказывать отдельно и обстоятельно. Скажу только, что у Кольки была корова с печальными глазами, предмет моего пристального внимания, беспризорного Джойку я приручил к нашему дому, и мы с ним почти не расставались, а Мурку я заставлял дружить с Джойкой, который не возражал при этом. Колька жил на соседней улице, ведущей в поле, где пасли коров. Эту улицу пересекала одноколейка, идущая от вокзала, находящегося от нас в трёх-четырёх километрах.

Параллельно нашей шла бойкая городская улица с асфальтированной мостовой, трамвайными линиями и тротуарами. Она вела прямо к вокзалу. Звали эту улицу, кажется, «Челюскинской», что тоже, наверное, признак времени. По сравнению с нашей улицей Челюскинская была богатой и веселой. Ей не было никакого дела до своей бедной сестры с революционным названием.

Так вот по улице имени 1905 года мимо трёх уличных окон нашей новосибирской избы е ж е д н е в н о и помногу раз в день проводили по этапу партии заключённых – от вокзала до «пересылки» и обратно.

В каждой такой партии по несколько десятков человек. Наши три окна и вся наша семья не пропустили ни одной партии. За два года перед нами прошли тысячи и тысячи людей и, может быть, среди них были и те, чьё творчество и биографии представлены теперь в моём Вашингтонском музее русской поэзии и кто пережил не один сибирский этап. Я имею в виду сестру Марины Цветаевой Анастасию, дочь Ариадну Эфрон и племянника Андрея Трухачёва. Они провели в советских тюрьмах, лагерях и ссылках в сумме около пятидесяти лет своей жизни, а все Цветаевы по кругу — около восьмидесяти лет...

Мои сёстры, невесты на выданьи, вкусившие уже и рытье противотанковых рвов на Смоленщине, и работу в военных санитарных поездах, горько шутили: «Опять партеечку ведут!»

Изможденные люди с серыми лицами, в нищенских одеждах понуро плелись мимо нас, поднимая пыль, меся грязь или трамбуя неубранный снег. Много женщин, нередко с детьми наруках и с котомками за плечами. Старики. Инвалиды. Грязные, заросшие, истомленные.

С четырёх сторон шли охранники — лица «кровь с молоком» и в плечах «косая сажень» — с ружьями наперевес, иногда с собаками, огромными злющими овчарками. Зимой охранники щеголяли в белых овечьих тулупах, высоких сибирских валенках (« пимах») и в шапках-ушанках.

Из школьных окон эту картину тоже можно было наблюдать, Однако, я не помню, чтобы на переменках кто-нибудь подходил и тем более подбегал к окнам, когда мимо вели очередную «партеечку». В памяти, видимо, уже навсегда застряли только три уличные окна в нашей избе, и мы все стоим около них. Стоим в немом ужасе. Кто-то кусает пальцы, кто-то — губы,

а кто-то даже плачет. И мы смотрим, смотрим, смотрим на этих несчастных.

Наконец, не выдерживает тётя Лиза, пережившая голод 1930-х годов на Украине: «Будьте прокляты, коммуняки!- кричит она –«Ненавижу!» И так каждый раз. Иногда мы выбегали за ворота и бросали в колонну какую-нибудь еду.

Если заключённых вели с вокзала, то перед воротами тюрьмы их заставляли присесть на корточки или стать на колени. С окриками и угрозами их пересчитывали по головам. Это длилось бесконечно долго даже на взгляд постороннего наблюдателя. И летом — в сибирский зной, и зимой — в сибирский мороз. Да ещё улица продувалась ветром, словно аэродинамическая труба. Зимой ветер мог «срезать» уши, нос и щёки, обжигая не хуже раскалённого железа. Мы часто бывали свидетелями этой унизительной околоворотной процедуры, так как буквально напротив тюрьмы, чуть наискосок, находилась булочная, где окрестное население как раз «отоваривало» свои хлебные карточки. Причём обязательно каждый свою. По этой причине и из-за перебоев с хлебом здесь возникали огромные очереди.

Каким-то образом некоторых этапированных отпускали на волю прямо из «пересылки». И тогда они снова проходили мимо нашего дома. Наша изба была первым жильём на их пути к вокзалу. Кое-кто из них заходил в наш двор и робко стучался в кухонное окно. Им открывала дверь глава нашей семьи добрейшая и умнейшая тётя Пера. Она принимала всех. У нас находили временный кров знакомые и земляки моих сестёр и разные родственники. Останавливались и фронтовики, приехавшие в отпуск по ранению или по болезни. Но эти «тюремные» пользовались её особым расположением. Она их усаживала за стол, кормила, выслушивала их истории. И тут выяснялось, что кто-то сидел за опоздание на работу на несколько минут, другой — за утерю продовольственных карточек или мелкую кражу на базаре. Крестьяне попадались за сбор оставшихся после уборки колхозного поля колосков или картофеля.

Тётя Пера давала им денег на дорогу, хотя мы сами едва сводили концы с концами: нас же временами было до 13 человек, и не все взрослые имели работу. Выкручивались часто за счёт продажи и обмена на продукты Периных московских вещей. Остальные вообще были «голые и босые» как и большинство беженцев. Нередко можно было встретить на базаре, например, актёров, продававших заколки, помаду и другие мелочи. А какой праздник был, когда удавалось поехать на разгрузку дров на обскую пристань или в колхоз на копку картошки. Ведь платили натурой — дровами и овощами на зиму.

Как же несправедливо, что тётя Пера, столько сделавшая доброго людям в их очень трудное и горькое время, первая из всей родни ушла в мир иной, да ещё от тяжелейшей и до сих пор считающейся неизлечимой болезни...

Однажды к нам в кухонное окно постучался мужчина средних лет. Мы потом его долго вспоминали: чёрная густая борода и такие же усы, патлы на голове, глубокий и какой-то затаённый взгляд. Сёстры сразу же окрестили его Иисусом. Как он ел Перин борщ, как отщипывал хлеб и подбирал крошки со стола, каждую в отдельности отправляя в беззубый рот. Не спеша, размеренно, обстоятельно.

Одно время к нам повадился заходить лейтенант из «пересылки». Высокий, статный, красивый юноша. Ему очень шла новенькая военная форма. Может быть, он интересовался нашими невестами. Их было трое — выбор неплохой. Не исключено, что ему поручили понаблюдать за нами, явно сочувствющими зэкам. По крайней мере, никто из наших его не приглашал, конечно. Лейтенанта, кажется, звали Мишей. Он приходил обычно вечером, садился, молча, в кухне, где мои сёстры сидели рядком за вязанием и по-девичьи хихикали, всячески его поддевая.

Миша сидел понуро и молчал. Я вёл наблюдение: в его глазах затаилась вековая еврейская грусть. Вскоре он перестал приходить. Взрослые говорили, что после многочисленных его раппортов с просьбой отправить на фронт, это произошло, и он погиб в первом же бою.

На чёрно-белом экране впечатлений военного детства всплывает и виден довольно отчётливо ещё такой эпизод нашей околотюремной жизни.

Как-то утром, а учился я тогда во вторую смену, нас разбудил шум на улице: крики, лай собак, выстрелы. Мы быстро раскрыли ставни и прильнули к уличным окнам. По улице вели партию подростков. Охранников и собак больше обычного.

Ружья направлены прямо на людей. Партия останавливалась через каждые несколько шагов, так что мы её наблюдали, наверное, целый час.

Мальчишки бунтовали. Они были в бешенстве. Некоторые из них — самые сильные и ловкие — пытались выскочить из колонны в стороны и назад. Кое-кому это удавалось сделать. Но их догоняли, рвали собаками, били прикладами и ногами, вталкивая обратно в колонну, которая давно потеряла строй, превратившись в бесформенную толпу. Через двойные рамы наших злосчастных окон слышались крики, вой, гул, мат-перемат, лай: толпу детей-заключённых избивали...

С тех пор прошло больше пятидесяти лет, но мой иреальный кинопроектор не перестает прокручивать эти горькие кадры из года в год, из года в год...

В 1943 году я вернулся в Москву, а через 25 лет побывал в Новосибирске снова и в первый же свой командировочный день, конечно, поспешил на улицу имени 1905 года. Долго стучался в «нашу» избу. Два испуганных мальчонка, наконец, открыли мне двери. Я зашёл. Кухня и комната показались мне на удивление маленькими, грязными и тёмными. Они были почти пустые. У нас, «эвакуированных», всё же в кухне стоял большой стол, сколоченный из ящиков. Кровати в комнате тоже были из ящиков, а в углу кухни торжественно располагался матрац. А сейчас как будто ничего. Как здесь живут люди, дети? И как помещались наши 13 человек?

Удручённый, я вышел из избы и направился к школе. Школа тоже выглядела очень жалкой. Иду мимо неё. Где же забор «пересылки»? Где её ворота? Ничего не могу понять: не узнаю «родные» места. Они же множество раз виделись мне во сне.

Забора и ворот не было. Маячил только главный деревянный корпус тюрьмы. Я подошёл поближе и прочёл вывеску у входа:

«ДЕТСКАЯПОЛИКЛИНИК	A»
--------------------	----

Музыканты умолкли. Концерт завершился. В зале возникло обычное послеконцертное оживление. Мой внутримозговой киноэкран погас. Я вышел на улицу и завернул за угол. Солнце играло с монументом Вашингтону, около которого бегали и прыгали счастливые дети.

Web site: www.museum.zislin.com

Приложение.

ВОСПОМИНАНИЕ О ПЕРЕСЫЛЬНОЙ ТЮРЬМЕ

на улице им.1905 года

Давно то было: царь в народ стрелял.

Тем годом дальним улицы назвали.

Когда с царем сквитались, ой, ля-ля,

Чем обернется всё, тогда не знали.

А вышло так, что царь опять пришел.

Но под коммунистическим прикрытьем.

Да что там царь - тиран, что порошок

Из думающих делал, дав лишь выть им.

Он лихо ум страны уничтожал

И оставлял убожество и серость.

Себя выпячивать не уставал -

И день и ночь о нем повсюду пелось.

Он подгонял все под свое величье.

Тащил себя на ложный пьедестал.

Мох подозрительности сеял лично.

Историю кроил и исправлял.

Я помню время - 41 год.

И ноги связаны узлом и руки.

По глупости его простой народ

На фронте гибнул в жуткой мясорубке.

А что в тылу - мне тяжко рассказать.

В Новосибирске жил я у вокзала.

Изба моя, окошечки-глаза,

Понурилась с того, что повидала.

По мерзлой улице гуртом плелись -

Штыки вокруг гурта на изготовке -

Босые люди, эй, Христос, проснись -

И женщины с детьми средь них неловки.

И так, и так по многу раз на день

Я видел эту страшную картину.

Легла на сердце мне смятенья тень -

С мальчишеских тех лет не может сгинуть.

Тогда сажали за щепотку соли,

За опоздание на 5 минут,

Давили всех за проявленье воли,

Висел над каждым и топор, и кнут.

Террор, развязанный еще в тридцатых,

Горел огнем, пока палач не сдох,

И одурманенные слезы в ахах

Не потопили праведнейший вздох.

Но до конца тиран ведь не развенчан,

Еще живут его оскал и рык.

Да серость расплодилась и разъелась.

Не зря же пестовал ее старик.

Давно бы надо имена всех жертв -

Безвинных - выбить на граните.

Пусть этот список каждого прожжет.

Слезами вы на тот гранит плесните...

Мы с мамой вспоминаем иногда

Новосибирск, тюрьму, избу, наш дворик.

И не забыть, я знаю, никогда

Овчарок лай и конвоиров окрик...

1988 г.